

RUGRAM

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Пленница

ФТМ

УДК 82/89
ББК 84(4Фра)6
П85

MARCEL PROUST
À la recherche du temps perdu
La prisonnière
1923

Перевел с французского Н. Любимов

Пруст М.

П85 В поисках утраченного времени : Пленница / Марсель Пруст ; [пер. с франц. Н. Любимова]. — М. : «RUGRAM_ФТМ», 2021. — 491 с. — (Серия «Пальмира — Пруст»).

ISBN 978-5-521-74584-5

«Пленница» — пятая книга семитомной эпопеи французского писателя Марселя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени». Рассказчик повествует о том, как он держал свою невеселую Альбертину взаперти, пытаясь оградить ее от дурного влияния.

УДК 82/89
ББК 84(4Фра)6

© Любимов Н. М., наследники,
перевод на русский язык, 2021
© Оформление.

ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ISBN 978-5-521-74584-5

По утрам, лежа лицом к стене и еще не видя над длинными занавесками, что за оттенок у полосы света, я уже знал, какая сегодня погода. Я догадывался об этом по первым уличным шумам, которые доходили до меня то приглушенными и искаженными влажностью, то визжавшими, как стрелы, в звонкой и пустой тишине воздуха — тишине емкого, холодного, ясного утра; прислушиваясь к первому трамваю, я определял, мокнет ли он под дождем или же мчится навстречу безоблачному небу. А может быть, шумам предшествовала их более стремительная и более юркая эманация: проскользнув в мой сон, она с грустью предвещала, что сейчас пойдет снег, или заставляла крохотного человечка петь во мне с перерывами одну за другой песни во славу солнца, так что, сколько я ни улыбался во сне, сколько ни смыкал веки, которые вот-вот должны были замигать от света, в конце концов меня все-таки пробуждало оглушительное пение. В этот период времени внешний мир проникал ко мне главным образом через мою спальню. Блок, насколько мне было известно, рассказывал, что, когда он приходил ко мне по вечерам, ему слышалось, будто я с кем-то разговариваю; так как моя мать жила тогда в Комбре и так как в моей комнате никого, кроме меня, не было, он думал, что я разговариваю сам с собой. Потом, узнав, что в моем доме живет Альбертина, и поняв, что я прячу ее от всех, он именно этим объяснял, почему я никуда не выхожу из дому. Он ошибался. Ошибка простительная, потому что в действительности, даже если ошибка как будто не подлежит сомнению, не все можно

предусмотреть; те, кто узнает достоверную черту из жизни друга, тотчас же делают неправильные выводы и этому новому для них явлению дают совершенно неверное истолкование.

Стоит мне вспомнить теперь о том, что по возвращении из Бальбека Альбертина стала жить в Париже под одной крышей со мной, что она отказалась от мысли о морском путешествии, что она расположилась в двадцати шагах от меня, в конце коридора, в обитом штофными обоями кабинете моего отца, и что по вечерам, очень поздно, она на прощание просовывала свой язычок ко мне в рот, точно ежедневную пищу, как бы обладавшую питательными свойствами и почти чудодейственной силой для всей плоти, силой, благодаря которой боль, какую мы оба вытерпели из-за нее же, из-за Альбертины, превращалась в нечто вроде душевного умиротворения, в моем воображении мгновенно возникает не та ночь, когда капитан Бородинский разрешил мне переночевать в казарме, — его поблажка излечивала мнимое мое заболевание, — а ту ночь, когда отец позволил матери спать в моей кровати, со мной рядышком. И вот так всегда жизнь, если она должна избавить нас от страдания, кажущегося неизбежным, вопреки ожиданиям поступает в обстоятельствах иногда до того разных, что сопоставление явленных нам милостей представляется иногда почти явно кощунственным!

Когда Альбертина узнала от Франсуазы, что я не сплю в предутренний час, при еще задернутых занавесках, Альбертина, не стесняясь, что шум мне мешает, тихонько плескалась в ванне. Часто я тогда же проходил в мою, смежную ванную, очень приятную. В былые времена один директор театра истратил несколько сотен тысяч франков, чтобы усыпать настоящими изумрудами трон, на котором восседала зна-

менитая актриса, игравшая роль императрицы. Русский балет научил нас тому, что самые обыкновенные софиты, в зависимости от того, куда они направлены, образуют не менее яркую и более разнообразную игру драгоценных камней. Эта менее вещественная декорация, однако, не столь изящна, как та, которой в восемь утра солнце заменяет другую, которую мы видим обычно, когда встаем в полдень. Стекла окон двух наших ванных, чтобы нас никто не увидел снаружи, были не гладкие — их покрывал искусственный, вышедший из моды иней. Солнце сейчас же окрашивало в желтый цвет эту стеклянную ткань, поглащало ее и, бережно открывая во мне молодого человека, таившегося дольше, чем его туда запрятывала привычка, опьяняло меня воспоминаниями о том, каким я был когда-то, на лоне природы, в пору листопада; и даже около меня была птичка. Ведь я же слышал неумолчный щебет Альбертины:

Как ни глупо от страстей терзаться,
Поддаваться им еще глупей¹.

Из любви к Альбертине я не смеялся над ее плохим вкусом в музыке. Между тем эта песенка прошлым летом приводила в восторг г-жу Бонтан, но, правда, потом ей внушили, что это белиберда, и, когда у нее собирались гости, она просила Альбертину спеть уже не эту, а другую вещьцу:

В смятенной глубине родится песнь прощанья, —

но затем она отзывалась и о ней как о «надоевшем мотивчике Массне, которым малышка прожужжала нам уши».

На солнце наплывало облако; я видел, как темнел и погасал стыдливый густолиственный стеклянный

¹ Перевод стихов в «Пленнице» принадлежит В. Стефанову.

занавес. Стекла, разделявшие наши две ванны (у Альбертины была такая же точно ванная, как у мамы, но у мамы была еще одна — в другом конце квартиры, этой она никогда не пользовалась, чтобы не шуметь у меня над ухом), были до того тонки, что мы с Альбертиной могли, купаясь, перекликаться, могли вести разговор, прерывавшийся только шумом воды, что создавало между нами ту душевную близость, которая часто возникает в гостиницах от тесноты и от близости номеров, а в Париже это бывает чрезвычайно редко.

Иногда я лежал, мечтая, в постели, сколько мне хотелось, — слугам было приказано не входить ко мне в комнату, пока я не позвоню, а звонок над моей кроватью был повешен неудобно, и часто, устав дотягиваться до него, счастливый тем, что могу побыть один, я на некоторое время впадал в полудремоту. Я не был совершенно безучастен к тому, что Альбертина живет у нас. Ее разлука с подругами избавила меня от новых мучений. На сердце у меня было теперь легко; казалось, это мнимое спокойствие могло бы исцелить меня. И все же тот покой, что внесла мне в душу моя подруга, не столько радовал меня, сколько утишал мою муку. Дело заключалось совсем не в том, что он не принес мне многих радостей, ибо во мне была еще слишком жива другая боль, которую я испытал, — те радости, какие у меня появились, не исходили от Альбертины: мне казалось, что она подурнела, мне было с ней скучно, я отдавал себе ясный отчет в том, что разлюбил ее, теперь мне становилось хорошо на душе, когда ее со мной не было. Вот почему утром я звал ее не сразу, особенно если была хорошая погода. Несколько минут я оставался вдвоем с жившим во мне человечком, о котором я уже упоминал, Песнословцем солнца, — с ним мне было веселее, чем с Альбертиной. Из тех, кто входит в состав нашей личности, видные снаружи не являются самыми главными. Во мне, когда болезнь

в конце концов расшвыряет их одного за другим, останутся двое-трое, которым придется несладко, особенно одному философу, который находит удовольствие только в отыскивании сходства между двумя произведениями искусства, между двумя полученными от них впечатлениями. Иногда я задавал себе вопрос: кто будет последний — не человечек ли, так похожий на того, который комбрейский оптик поставил на витрину, чтобы указывал погоду, и который снимал капюшончик, когда было ясно, и надевал, когда шел дождь? Я знал, насколько человечек эгоистичен; я страдал от удушья, которое только дождь мог успокоить, а ему это было безразлично, и при первых же каплях дождя, которых я с таким нетерпением ждал, он сразу мрачнел и с сердитым видом надевал капюшон. Я уверен, что когда у меня начнется агония, когда все мои другие «я» умрут, то, если при последнем моем издыхании блеснет луч солнца, барометрический человечек повеселеет, снимет капюшон и запоет: «Ах, как хорошо теперь жить на свете!»

Я звонил Франсуазе. Развертывал «Фигаро». Тщетно искал, нет ли там недавно мной у себя найденного очерка, или чего-то вроде очерка, слегка переделанного, посланного мною туда, но так и не помещенного, который я писал в экипаже доктора Перспье, глядя на мартенвильские колокольни. Потом читал мамино письмо. То, что девушка живет вдвоем со мной, казалось ей чем-то из ряда вон выходящим, неприличным. В день отъезда из Бальбека она видела, как я страдаю, ей тяжело было оставлять меня одного, и, пожалуй, ей было даже приятно, что Альбертина едет с нами, приятно, что рядом с нашими вещами (теми самыми, возле которых я проплакал всю ночь в отеле «Бальбек») в пригородном поезде стоят чемоданы Альбертины, узкие, черные, напоминавшие мне гробы, — вещи, о которых я не мог бы сказать определенно: что они внесут в дом — жизнь или смерть. А я был так счастлив, избавив-

шись от страха остататься в Бальбеке, так счастлив в то ясное утро, что даже забыл спросить у мамы разрешения взять с собой Альбертину. Но если вначале моя мать отнеслась к моему желанию благосклонно (она говорила с моей подружкой ласково — тоном матери, у которой сын тяжело ранен и которая испытывает чувство благодарности к его юной возлюбленной за то, что она за ним самоотверженно ухаживает), то, когда я достигал всего, что хотел, и когда девушка у нас зажила, да еще в отсутствие моих родителей, моя мать отнеслась к этому враждебно. Я бы не сказал, что моя мать выражала это свое враждебное чувство постоянно. Как в былые времена, когда она переставала журить меня за нервозность, за лень, так и теперь она делала над собой усилие — в чем я, может быть, и не отдавал себе в этот момент вполне ясного отчета, а может быть, не хотел отдавать — и воздерживалась от неблагоприятных суждений о девушке, о которой я с ней говорил как о своей невесте: воздерживалась из боязни испортить мне жизнь, настроить меня против жены, что может сказаться впоследствии, из боязни, как бы меня не мучила совесть после ее смерти за то, что я все-таки решился жениться на Альбертине. Мама, уверенная в том, что ей все равно не удалось бы заставить меня отказаться от своего выбора, предпочитала делать вид, что она его одобряет. Но видевшие ее в ту пору потом говорили мне, что к горю, причиненному ей кончиной матери, примешивалась постоянная озабоченность. От этой внутренней напряженности, от душевного разлада у мамы начались сильные приливы к голове, ей не хватало воздуха, и она беспрестанно открывала окна. Она не принимала решения из боязни «оказать на меня дурное влияние» и отравить то, в чем силилась видеть мое счастье. У нее не хватало душевных сил даже на то, чтобы не позволить мне временно приютить у себя Альбертину. Ей не хотелось оказаться строже г-жи Бонтан, которую это бли-